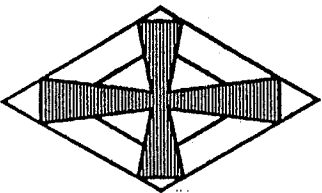


ЗАШИСКИ

РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ В США

ТОМ XXIII



VOLUME XXIII

TRANSACTIONS
OF THE ASSOCIATION OF RUSSIAN-
AMERICAN SCHOLARS IN THE U.S.A.

NEW YORK

1990

Два пророка: Пушкин и Лермонтов

*Сергей Давыдов**

Чтобы оправдать притязания на звание поэта в последующее время, надо было обойти Пушкина, отказаться от его понятия чистого искусства и от классического совершенства пушкинской формы, если такое совершенство еще ощущалось. Лермонтов обратился к поэтической традиции, которая была вытеснена явлением Пушкина на зашний план, к поэтам трибуневого круга, младшим архаистам, к поэтам декабристам Ф. Н. Глинке, В. К. Кюхельбекеру, К. Ф. Рылееву, Александру Олевскому, к поэзии Александра Полежаева.¹ В своей гражданской лирике Лермонтов возвращается к опической традиции с ее установкой на декламацию и экспрессию. Нагнетание эмоции гражданского негодования подчас приводит к риторическому надрыбу. Слова поэта, согласно Лермонтову, должны «воспламенить бойца для битвы» и звучать «как колокол на башне вечевой, / Во дни торжеств и бед народных» («Поэт», 1838). Все сказанное, конечно, относится только к одной стороне творчества Лермонтова, к его гражданской лирике, в которой он дальше всего отошел от Пушкина.

Стремление Лермонтова «обойти» Пушкина выступает наиболее рельефно как раз в стихотворениях обращенных к Пушкину. «Смерть поэта» (1837), в котором Лермонтов отпеваает Пушкина,

* Sergei Davydov, Professor of Russian at Middlebury College, is the author of *Zaklyucheniye Vladimir Nabokova* (1982) as well as of articles on Pushkin, Dostoevsky, Nabokov, and literary theory. He is presently working on another book about Pushkin's political and religious thought.

¹ См. Б. Эйхенбаум, *Лермонтов: Опыты историко-литературной оценки* (Ленинград: Гос. Издат., 1924), тл. II, ч. 3.

является одновременно и похоронами пушкинского поэтического канона. Стихотворение начинается как скорбная элегия. Но после строк:

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять.
Приют певца утрюм и тесен,
И на устах его печатъ

врываюся совершенно чуждые Пушкину, но очень созвучные эпохе звуки:

А вы, надменные потомки,
Известной подлостью прославленных отцов,
Питюю рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Ления и Славы палачи!
Тягаться вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!...
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к элословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Эти 16 строк *развистривит'* а перековывают скорбную элегию в железную политическую оду, которая ходила по рукам под названием «Воззвание к революции». (Среди списков «Смерти поэта» имеется и «Пророческий», помеченный датой «28 Января 1837 года», т. е. за день до смерти Пушкина).

Что же касается поэтики стихотворения «Смерть поэта», то Лермонтов, минуя Пушкина 30-х годов, обращается к его юношеским, вольнодумным стихам вроде «Вольности». Но стоит лишь бегло посмотреть на такое стихотворение как «Мирская власть» Пушкина, чтобы убедиться насколько по иному звучит голос зрелого Пушкина, когда он берется за аналогичную тему мученической смерти и посмертного надругательства:

Когда великое свершалось торжество
И в муках на кресте кончалось Божество,
Тогда по сторонам животовраща древа,

Мария-трешница и Пресвятая Дева,

Стояли две жены,

В неизмеримую печаль погружены.

Но у подножья теперь креста честнаго,

Как будто у крыльца правителя градскаго,

Мы зрим поставленных на месте жем святых

В ружье и кивере двух грозных часовых.

К чему, скажите мне, хранительная стража?

Или распятие казенная поклажа,

И вы боитесь воров или мышей?

Иль мните важности припятъ Царю дарей?

Иль покровительством спасаете могучим

Владыку, тернием вечнаго колочим,

Христа, предавшего послушно плоть свою

Вичам мучителей, ввоздым и кошино?

Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила

Того, чья казнь весь рой Адамов искупила,

И, чтоб не потеснить гуляющих господ,

Пусть не велено сюда простой народ?

(«Мирская власть», 1839)

В отличие от Лермонтова, в пушкинской филиппике против мирской власти сочетаются олимпийское спокойствие и ирония. На каждый риторический вопрос «к чему?» ответ «ни к чему!» только подразумевается, а не выкрикивается, как это могло бы быть у Лермонтова.

Таким образом, перестроившись на эгклезиастический лад, мы можем обратиться к «Пророкам»:

Пушкин: «Пророк» (1826)

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угли, пылающий огнем,
Во грудь отверстую вонянул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Это хрестоматийное стихотворение, основанное на видении пророка Исайи (6:1-13), принято считать краеугольным камнем пушкинского духовного злания. Разные толкования «Пророка» поднимают ряд вопросов: Исползовал ли Пушкин библейский подтекст для политической цели распространения декабристских идей? Или же «Пророк», написанный под самый конец шестилетней ссылки, по дороге в Москву, перед аудиенцией с царем, является уже отступническим манифестом раскаявшегося Пушкина? Или же это мета-поэтическое стихотворение, и библейский пророк здесь только аллегория инакового поэта в его высшем призвании к «священной жертве» Аполлону? (Как думали Соловьев, Мережковский, Гиппиус, Брюсов, Томашевский). Или же в «Пророке» Пушкин обыгрывает масонский обряд, в котором

формулы из присяги о сохранении масонской тайны гласят: «Путь мне будет перерезана шея, язык вырван с корнем и зарыт в морском песке при низкой воде... Вырвано сердце из под моей обнаженной левой груди... Внутренности сожжены в пепел». При посвящении в первоаппенцики торжанием углем, взятым из камильницы, «делался трюк: красный крест над языком», [причем] посвящаемый должен был лежать в гробу «как труп».²

Или же «Пророк» обнаруживает подлинное духовное пере-
рождение человека перед фактом тайнства Воскресения и его

² М. Косталевская, «Ангил Valer», *Записки русской академической группы в США*, т. XX (1987), стр. 105. Цитаты из А. Пылин, *Русское масонство* (Петроград: «Огни», 1916), стр. 74 и Т. Соколовская, *Русское масонство и его значение в истории общественного движения* (С.-Петербург, б. д.), стр. 69.

смирения перед высшей волей Господней (см. Гершензон, Иванов, о. С. Булгаков). Отмечая собою годовщину со дня смерти Пушкина о. Сергей Булгаков сказал:

В зависимости от того, как мы уразумеваем «Пророка», мы понимаем и всего Пушкина. Если это только эстетическая выдумка, одна из тех, которых ищут литераторы, тогда *нет* великого Пушкина, и нам нечего ныне праздновать... Таким слов нельзя *сочинять*, или взять в качестве литературной темы, переложения....³

Независимо от того, кем мы будем считать *пророка* — револуционером, поэтом, масоном, или пророком в чистом виде — один факт остается несомненным: утратой «грешного языка, празднословного и лукавого», заканчивается для Пушкина период его парнасского атеизма. После 1826 года у Пушкина не встречается больше богохульных тем. Таким образом гонимая «Пророка» является как бы водоразделом между ранним, «грешным и лукавым» искусством и зрелым творчеством поэта, все чаще ориентированным на христианские ценности.

Дермнтон: «Пророк» (1841)

С тех пор как вечный суици
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читая я
Сранныи злыбы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посылал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи;

Завет прелвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

³ Прот. С. Булгаков, «Жрбий Пушкина» (1937), в кн. *Дик Пушкина* (Париж, 1938), стр. 19-20. Курсив в тексте.

Когда же через шумный град
Я пробираться торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбочкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Пупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он утром, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

«Пророк» — последнее стихотворение Лермонтова. Оно было записано в альбом, подаренный ему В. Ф. Одоевским. Кроме этого стихотворения больше ничего в альбоме нет. Стихотворение написано посмертно в 1844 году.

На основании первых строк стихотворения: «С тех пор как вечный судия / Мне дал всевеленье пророка...» принято считать, что пророк Лермонтова продолжает путь, начатый пушкинским отшельником. Но уже с первых строк в глаза бросается скорее различие, чем преемственность. Пророк Пушкина основан на реальном видении и опыте библейского пророка Исайи, в то время как пророк Лермонтова — это его собственное сознание. В пушкинском пророке сохранен основной библейский элемент профетической миссии, а именно, слово Божие обращенное к пророку и призывающее его на служение. У Лермонтова этот элемент отсутствует.

В стихотворении Пушкина в начале действует посланник Бога, Серафим, который готовит человека к приятию Божественного гласа. Затем раздается «Бога глас». Именно этот голос воскрешает человека из мертвых и превращает его в пророка: «Восстань пророк...» Это живой Бог Библии. У Лермонтова же Бог — это некий абстрактный «вечный судия», Бог закона. Бог не спасает, а карает. В «Пророке» Лермонтова также отсутствует момент призвания.

В глада бросается и разница между двумя пророческими дарами. У Пушкина дар всеведения распространяется на все явления физики и метафизики, от «торного полета ангелов» до «подводного хода гад морских». У Лермонтова дар всеведения, полученный от Бога-судии, соответственно ограничен: Пророк сумел про-

читать «в очах людей» только «страницы злобы и порока». Эта односторонность или, говоря перковным языком, безблагодатность, ставит под сомнение сам дар и божественность его природы.

Миссия пушкинского пророка конкретна: «исполниться волею Божией и глаголом жець сердца людей». Лермонтовский эквивалент пророческого глагола — это некое абстрактное «провождение чистого учения любви и правды» — т. е. тот дидактизм, от которого когда-то отказался пушкинский новозаветный пророк в «Сектеге свободы» (1823), а тем более его поэт, не пожалевший даже черни «смелые уроки» («Плоэт и толпа» 1828).

Мы не знаем ни как «исполнился волею Господнею» пушкинский пророк, ни каким образом он выполнил свое назначение, но мы знаем, что его поэт остался верен завету «сладких звуков и молитв» вплоть до последних строк последнего, самого гордого и самого смиренного стихотворения, «Памятник», в котором поэт призывает Музу «быть послушной вельню Божью». Лермонтовский же поэт/пророк, несмотря на заверения, что «стих его, как Божий дух, носился над толпой» («Плоэт» 1838), никто не сумел убедить, «что Бог гласит его устами». Можно предположить, что в пророка-самозванца «близости бросают бешено камень» не столько из-за его «бледности и бедности», как из-за «бедности и бледности» его уроков «любви и правды».

У Лермонтова, поэт это — «осмеянный пророк» («Плоэт»). Он печется о «народной любви» и страдает, когда его слово не принимается. У Пушкина нет ни подобной призываний, ни ущемленности «осмеянного пророка». Пушкинский пророк/поэт, как правило, мало «дорожит любовью народной» и не тешится «оплеванного алтаря». Он «живет один как царь» («Плоету») или «по прихоти своей скитается здесь и там, дивясь красотам божественной природы и умилясь пред созданиями искусства» («Из Пиндемонти»). Тем не менее он знает, что к его памятнику «не зарастет народная тропа».

Между пророками Пушкина и Лермонтова еще одна существенная разница. Пушкинский пророк, «духовной жаждою томим», уходит в пустыню. Обетом отшельничества и аскетизмом он довел себя до истощения и лежит в пустыне, как труп. И только тут происходит мистическое преобразование, которое убивает в нем смертного и воскрешает его пророком (ср. также последнее «Полражание Корану»). Лермонтовский же пророк, только после всенародного провала своих проповедей, бежит в пустыню и только *post factum* совершает свой отшельнический подвиг, с которого у Пушкина все и началось.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птица, даром Божьей пищи;

Из этих строк неясно: смирение ли это или отступничество от миссии пророка? У Пушкина пророк утоляет духовную жажду словом Господним. У Лермонтова «Божия пища» — это что-то материально съедобное и походит скорее на «акрипы» (роп съедобной саранчи), которыми пророк питается как «птичка», не обязательно даже «Божия», как в пушкинских «Пытанах».

Далее у Лермонтова следует так:

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

У Пушкина пророк никого не покорял, не повелевал твари и не читал проповедей тверди. Наоборот, он смиренно внимал и учился вникать в язык неба, твари и дозы. Но гордые отшельничество лермонтовского пророка вряд ли можно назвать подвигом смирения. В пророке Лермонта слишком много любоначала, тщеславия и гордости. Впечатление такое: не сумев покорить глаголом сердца людей, лермонтовский пророк покоряет себе тварь земную и заставляя звезды слушать свои проповеди. В другом, более правдоподобном отшельническом стихотворении, «Выхожу один я на дорогу», поэт не был включен в космический разговор: там «Пустыня внемлет Богу и звезда звездою говорит», мало заботясь об «вышешем на дороге». Но в «Пророке» звезды внемлют пророку, и от того, видимо, ираког радостно лучами.

Приобретя таким образом новую уверенность в воздействии своего слова, пророк Лермонтова покидает пустыню. Но тут опять непонятно: идет ли он в люди «глаголом жець сердца», или будет только торопливо проходить их города, навсегда отказавшись от прощаний?

Когда же через шумный град
Я пробираться торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбочкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.

Глушец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

Разделять мнение черни нелегко, но на этот раз мне кажется, что обвинения вынесенные «самолюбивыми старцами» не лишены некоторого основания. Одно лишь коруство лермонтовского пророка сближает его с образом истинных пророков. Остальные его черты: неуживчивость, нелюбовь к ближнему, угрюмость, любоначалае, самоэванство и гордыня намекают о другом. Сквозь образ лермонтовского пророка просвечивает, или лучше сказать, его заслоняет гордый и одинокий изгнанник и самоэванец, Демон, что и заместил чуткий Достоевский, сравнивая этих двух «Пророков»:

Пушкина я выше всех ставлю, у Пушкина это почти *нидземное*,... но в лермонтовском «Пророке» есть то, чего нет у Пушкина. Желчи много у Лермонтова, — его пророк — с бычом и ядом... Там есть *они!* (Выделено Достоевским).⁴

«Там есть *они!*» Так выразился о «Пророке» Лермонтова автор *Бесов*.

* * *

«Пророк» Пушкина вероятно послужил толчком для лермонтовского «Пророка», но формально и идейно между ними мало общего. Стихотворение Пушкина допускает целый ряд не исключенных друг друга прочтений. Пушкинскому многоосложному образу *пророка*, вмещающему в себя черты революционера, масона, шамана, поэта и истинного ветхозаветного пророка, Лермонтов противопоставляет гражданского пророка. «Пророк» Лермонтова однопланен, и если у него образ пророка заслонен демоническими чертами, то это происходит, мне кажется, не по авторской воле, а вопреки ей. Пророк Лермонтова — это обличитель общественных пороков, отвергнутый и осмеянный своим народом.

Несмотря на свою откровенную точку, стихотворение Лермон-

⁴ Ф. М. Достоевский, *Об искусстве* (Москва: «Искусство», 1973), стр. 497.

това выдержано не в стиле Пушкина, а в духе гражданской декабристской лирики (Кюхельбекера, Рыльева, А. Одоевского, Ф. Глинки), или еще точнее в духе тех апокрифических виршей, которыми во многих ходящих по рукам списках заканчивался пушкинский «Пророк»:

Восстань, восстань, пророк России,
Позорной ризой облекись
И с вервьем вкруг смиренной вьши
К царю российскому явись!⁵

⁵ Ср. у Кюхельбекера:

Горька судьба поговь всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию:
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был выоблен...
Станула петля дерзостную вьню.

(«Участь русских поговь», 1845)

Или у Александра Одоевского:

Лишь вспыхнет огонь во глубине сердец,
Пять жертв встанут преи нами; как венец,
Вкруг вьши вьется синий пламень.

Сей огонь поожет чело их палачей,
Когда пред суд властителя царей
И палачи и жертвы станут рядом...

(«При известии о польской революции», 1831.
Курсив мой — С. Д.)